

ДАРЬЯ ВОСТОКОВА

---

# Огонёк



Дарья Востокова

**Огонёк**

«Издательские решения»

**Востокова Д. О.**

Огонёк / Д. О. Востокова — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-962653-0

Россия, первая треть XX века. В большинство деревень уже пришла коллективизация. Людей держат на коротком поводке. Что может сделать с человеком страшная историческая эпоха политического насилия? О чём на протяжении нескольких веков так старательно предупреждает нас история, и почему мы не слышим её?

ISBN 978-5-44-962653-0

© Востокова Д. О.  
© Издательские решения

# Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ	6
1. ПОТЕРЯ	7
2. ХИТРОГЛАЗЫЕ	12
3. ДРУГ	15
4. СЕМЬЯ	18
Конец ознакомительного фрагмента.	21

# Огонёк

**Дарья Олеговна Востокова**

© Дарья Олеговна Востокова, 2019

ISBN 978-5-4496-2653-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Приближаясь к столетию периода ледящих репрессий, голодных и холодных лет, коллективизации и прочих государственных подвижек, стоит говорить об их колоссальном воздействии на менталитет в целом и на человеческую личность, в частности. Сегодня, как показывает статистика и опыт, поколение зиждется на тяге к индивидуальности, карьерному росту и росту интеллектуальному. Не всегда это стремление даёт спелые плоды.

В любом случае, первыми помощниками здесь выступают семья и окружение. Но не каждый сегодняшний подросток придаёт институту семьи значимое место в жизни. Раздоры часто происходят на «пустом» месте, и нередко пропасть между отцами и детьми остаётся на всю жизнь. Отметим, что сегодняшние исторические события не мешают существованию семей, как полноценных элементов общества. Однако современные семьи уничтожаются под влиянием других факторов, чаще зависящих от самих родственников. И это внушает катастрофу.

История, описанная в этой книге, демонстрирует обычный для того времени разрыв семейной общины на почве государственных гонений. Здесь и мальчик, по сегодняшним признакам больной малоизученным аутизмом, и мать с тягой к гипертрофированному восприятию, и окружающие, натянувшие на себя одинаковые маски угодливости. И всё бы ничего, но на пьедестал выходит главный герой картины – страх. Страх, который породила история, под замедленным действием которого крутится клубок несчастий вокруг одной деревенской семьи.

Болезни главных героев сегодня встречаются достаточно часто, и это «часто» уже служит поводом для гибельного будущего семей и поколений. И заметим, история на все это смотрит извне. Что было бы с каждым из нас, попадись мы на удочку рыболова Кобы? Сражались бы мы честно, отстаивая своё интеллектуальное право или стали бы порабощенными и загнанными в клетку? Пошли бы против свояка ради выслуги перед государством?

Из века в век цикл истории повторяется, и каждый раз с ещё большим нажимом умоляет смотрящего не терять своего «Я», быть честным и справедливым. Персонифицируя образ страха, время показывает нам, что под влиянием трусости человек совершает убийственные поступки не только для себя, но и для семьи, односельчан, страны, наконец. И если тот, кто был верен себе и своим взглядам всё—таки погибает, то совесть его чиста и не тронута.

Быть может, новый круг истории пройдёт без таких колоссальных потерь, но стоит не забывать прошлое, отдавать должное тем, кто не смешал своё лицо с массами трусов, и учиться. Учиться побеждать.

Под гнетом трусости в книге резко противопоставляется характер взросления психически нездорового ребёнка и нравственное падение сформированных зрелых личностей. Здесь уже ориентир у каждого свой.

## 1. ПОТЕРЯ

Грубый солнечный луч ознаменовал начало нового дня. Я резко открыл слипшиеся глаза и, не потягиваясь, сразу побежал в соседнюю комнату. Хотелось услышать ласковое мамино «Доброе утро, сынок» и снова убедиться, что мама меня не разлюбила.

Домашние противно зудели. По—моему, сбежались ещё какие—то соседи, к которым той ночью приходили с обыском. Мама рассказывала, что кого—то даже увезли. Я неподвижно стоял за покосившейся дверью и подсматривал в неровную щель. Посреди комнаты соседская бабка истошно рыдала, а мои домашние понимающе облепили ее со всех сторон. Они молча клали свои сухие руки на истошную бабку, искренне поглаживали её, держали за плечи, сжимали ладони. Бабка никак не реагировала, только изредка усиливала бешеный вой. «Наверное, это такой соседский знак поддержки», – думал я. Так они показывают соседку, что любят её и никогда не оставят одну. Я этот знак запомнил, и если кому—то рядом станет горько, то я обязательно предложу свои детские ручки. Может быть, это поможет.

Как выяснилось, тетю Люду и дядю Арсения этой ночью увезли. Это были дети истошной бабки. Они всегда защищали меня, когда я неловко ползал по деревьям или сам с собой играл в охотников. Их же мать, эта самая бабка, в свою очередь, часто кричала на меня, а иногда даже стаскивала за ногу с огромного тополя, дальше второй ветки которого я был не в силах забраться. Обычно мой пыльный ботинок с незавязанными шнурками оставался у неё в руках, а я, ехидно улыбаясь, поджимал ноги к груди и по—детски издевался над строгой соседкой, корчил рожи и дразнился. Что она, маленькой не была что ли? Или своих детей у неё не было? А ведь были. В моей голове совсем не укладывалось, почему она меня не понимает; казалось, что я ей мешал, и она хотела сжить меня со свету. Так и было. Ведь после каждого такого представления баба Нюра обычно шла докладывать всё матери. А меня обглаживала обида.

Я любил мать. Любил рьяно, как дикарь. Я часто чувствовал приливы какой—то ревностной злости, когда мать складывала свои руки на кого—то другого, пусть даже пострадавшего. Зубы изо всех сил сжимались, и внутри возникал какой—то приглушенный гул. Мне казалось, что ее нежные, гладкие руки должны ласкать и обнимать только меня.

Будучи совсем маленьким, я громко рыдал, когда мать прикасалась к кому—то, кроме меня. И только после того, как ощущал тёплые мамины руки, слезы мгновенно прекращались. Отца у нас не было. Точнее, он где—то существовал, но не в нашей семье. Мама говорила, что его забрали выполнять ответственную политическую задачу. Я чувствовал, что мать что—то не договаривает, потому что отца я совсем не помню. Даже в раннем детстве. Почему—то я даже не чувствовал гордости за него. Никогда. Может, его и не было вовсе?

Мы жили вчетвером. Я, мать, ее немолодая сестра и сестрицын муж. Не могу сказать, что мы были недружной семьей, напротив, в посёлке нас все уважали и, если что—то случалось, то всегда направлялись к нам за помощью и поддержкой. Дядя мой был человек творческий, однако все его живописные мечты ему самому же пришлось растоптать. Как—то я подслушал разговор о том, что всех его друзей, художников слова, «уничтожили». Я не стал спрашивать, кто и почему... Я даже не понял, кого убили: художников или людей? Или художников в людях? Людей в художниках? Но думаю, что он испугался и перестал писать. А рукописи все пришлось сжечь. Помню, я смотрела из окна кухни и восхищался красотой величественного пламени. Кто знает, живи он в другое время, может быть, встал бы на одну ступень с Пушкиным.

Пушкин – наш великий поэт. Мама говорит, что об Александре Сергеевиче нужно всё знать, а стихи его – учить наизусть. Тетя говорит, что всегда мечтала быть Татьяной, а мне ставит в пример Ленского. Почему же не Онегина? Если в честь него названа книга, значит он вполне достойный персонаж? Я не знаю. Честно говоря, этот роман я не осилил. Наверное, потому что вообще не умел читать, а картинок в нем не было. Знал только, кто там и что делал –

мать рассказывала. Учить меня грамоте никто не принимался, у каждого было много своих забот. Достаточно того, что мать умеет читать. Мол, одной грамотной на семью достаточно.

Каждый вечер я молился о том, чтобы в нашу семью не ворвались русские враги и не забрали родных. Уж чему, а молиться меня учили всем домом. Мне приходилось монотонно повторять какие—то незнакомые слова за взрослыми, когда они обращались к Богу. Я не знал их значений, не знал их силы, но мама говорила, что они чудодейственны.

Я никогда не задумывался о том, что бы было, если бы вдруг увезли не соседских детей, а мать. Я вообще редко о чём—то задумывался. Истошная бабка называла меня больным на голову. Я спрашивал у матери о своей болезни, но та мгновенно уходила от ответа. Часто она водила меня к каким—то сельским докторам—самоучкам, которые тихо разводили своими костлявыми руками. Честно признаться, я чувствовал, что со мной что—то не так. Я чуждался людей, и любые крики истошной бабки или кого—то другого заставляли меня дрожать и беспорядочно дергаться, а перед глазами в этот момент мельтешили разноцветные или черно—белые нечеткие квадраты. Когда соседка успокаивалась, квадраты исчезали, дрожь исчезала, и я продолжал своё восхождение на тополиную вершину. Мать на меня не кричала, она знала, что я странно реагирую на громкий звук.

Уже несколько минут я стоял и наблюдал за бабой Нюрой. Ее старческих сил уже не хватало, поэтому плач представлял собой цикличное нанизывание высоких звуков. Странно, но квадратов перед моими глазами в этот раз не было, и я осмелился на цыпочках переступить порог. Все оглянулись. Мать подбежала ко мне, взяла меня двумя руками за пальцы и постаралась увести в комнату. Но я неподвижно стоял и пытался освободить себя от её хватки. Я чувствовал что—то новое, незнакомое. Изнутри меня что—то больно щипало, словно оттягивая кожу, и я, прихрамывая, подошёл к старухе, рухнул на пол и обнял её за ногу. Я сжимал её крепко—крепко и наигранно всхлипывал. Это выходило как—то произвольно, я не руководил собой или, по крайней мере, мне так казалось. Позже мать всё—таки утащила меня в комнату и села передо мной на кровать. Она трясла куском ржавой дурно пахнувшей селедки, пыталась заставить меня съесть это бесформенное яство, судорожно готовила меня к чему—то страшному. Помню, что мне было сложно уследить за каждым ее словом, сложно было вникнуть в то, что она говорит. Что—то про надвигающуюся опасность, про врагов... Если бы чуть медленнее... Наверное, я и вправду болен.

Оставшийся кусок истеричного дня я провёл в комнате. Слова матери оказали на меня некое воздействие: я был будто под прессом, мое свободное сознание превращалась в расплюснутый металлический пласт. Он сдавливал виски, мерзко вибрировал в ушах, заставлял сердце яростно колотиться. Я лёг спать. Старался вспомнить, что пыталась донести мать, но отчаянный пресс жадно давил все появляющиеся мысли. Этот пресс, наверное, и есть моя болезнь.

Сон, к счастью, оказался сильнее. Он подавил панические атаки, резко нападавшие на моё утро. Тем более во сне я часто видел черно—белые снимки какой—то радостной счастливой семьи, поэтому спать любил. Представлял на их месте нашу.

Но в эту ночь долго поспать мне не удалось. Сон прерывал какой—то вражеский грохот, грубые голоса и частый топот огромных ботинок. Я постарался насильно проснуться и поверить, что это сон. Не смог. С трудом поднялся с постели – ноги судорожно дрожали, сердце отчаянно билось свободными рифмами.

И снова мне было страшно выходить из комнаты, с каждым шагом вперед я пятился на два назад, но потом... Резко слышались нечеловеческие крики, больше похожие на вой израненного животного. Предчувствие меня не подводило. Кажется, к нам заявили те, о ком мать запрещала говорить вслух. За кем они пришли? За теткой? За дядей? Или они пришли забрать дом, разрушить хозяйство? Мать говорила, что теперь всё нажитое нами – общее, и рано или поздно придется поделиться с государством. Вся наша деревня являла собой стержневых работников колхоза, но я часто слышал, что денег не платили. Из разговоров я помню

закон о «колосках» или «стручках, который наказывал арестом того, кто подбирал с общего поля колосок или стручок гороха. Все брали, и все знали о том, что все берут, но молчали.

Такой ребёнок, как я, вряд ли им пригодится, поэтому я был уверен, что зверолобые пришли за кем—то из взрослых. Я выбежал во двор. Тётка визжала в подушку, в эту же минуту трясла за руку пожилого мужа, у которого почему—то изо рта шла тёмная кровь. Тот судорожно дергался, лицо его по—страшному кривилось и превращалось в нечто наподобие нечистой силы. Несколько человек в чёрном уводили нашу скотину. Где мать? «Где моя мать?!» — я пытался закричать, но разноцветные квадраты пронзили мое создание и заставили упасть на землю. Кажется, меня никто не слышал. «Где, черт возьми, моя мать? Вы слышите, где моя мать? Мама, мамочка, мамуля!» я носился по черному пустырю кругами, я пытался кричать, пытался вырвать себя из геометрической западни внутри меня, но похоже мои крики и правда никто не слышал. Я посмотрел на дорогу. Следы свежего визита паршивой машины. Я понял. Она увезла мать. «Ма—а—а...». Я медленно упал и пополз по следам. «А—а—а...». Уткнувшись лицом в родную, но такую предательски вражескую землю, я мечтал о смерти. В глубине моей души водородной бомбой разрывалось все то, что годами взращивала во мне мать. «М... а... Господи, может быть, ты меня услышишь, Боже, Боже милостивый, почему?» рыхлая земля шевелилась под воздействием издаваемых мной звуков, будто пытаюсь мне ответить.

Я пролежал на этом месте около пяти часов. Ни истошная бабка, ни тётка с мужем ни разу не подошли ко мне за это время. Думаю, они забыли обо мне. Зачем им? По деревьям не ползаю, не рыдаю, мать не дергаю. Да и своих забот у них по горло. Что, интересно, с мужем тетки? Он жив? Как подняться? А нужно ли? Можно ли просто умереть здесь, сейчас, молча и без последствий? Я приподнял присохшую к земле голову. Сухо. В метре от меня лежал какой—то кусок лунного цвета тряпки. Я вспомнил материны слова про помощь ближнему. Ведь если помогу я, когда—нибудь помогут и мне. Может принести эту тряпку тетке, чтоб она перемотала окровавленный рот мужу? Я постарался встать на колени, сплюнул земляные крупички и сделал резкий выпад вперёд, за тряпкой. Дрожащей рукой я схватил кусок, вытер со лба склизкий пот, взглянул и не поверил своим глазам. Синими чернилами были выведены слова. Это же мама, мамочка написала мне! Я сразу догадался о том, что этот обрывок материи должен принадлежать мне. Мама! Я изо всех сил втянул в себя запах этой тряпки и, закрыв глаза, представил родные материны руки. Когда? Когда она успела? Когда эти ироды заталкивали ее в машину? Когда обыскивали дом? Скорее всего, эта вещь томилась у неё под сердцем, как раз на такой случай. Мама, мамочка моя не забыла обо мне. На душе стало на мгновение теплее. Еще теплее. Но что... Что написано? Как мне понять эти слова? Ни истошная бабка, ни мои родственники не было обучены грамоте. Мать рассказывала, что ее научил письму и чтению какой—то заезжий дьячок, а передать свои знания мне она ещё не успела. Но как? Как я это прочитаю? Привычные квадраты снова заполнили мое сознание. Все тепло моментально растворилось во мне, но я чувствовал, что это был знак. Знак, чтобы жить.

Я все ещё барахтался в земле и пытался понять, что же мне хотела написать мать. Может, она хотела сказать мне что—то важное? Или там нацарапан тот самый адрес, куда её увезли? Нет, ведь она знала, что я не умею читать. Зачем ей что—то передавать мне на письме, зная, что я неграмотный? И как она может сообщить мне адрес, если ее только что увезли? Может быть, мама догадывалась, что все случится именно так, догадывалась, что я буду лежать здесь, что никто из нашей услужливой семьи ко мне не подойдет, знала, что я буду думать о смерти? Наверное, мамочка, моя родная, милая мамочка хочет, чтобы я научился грамоте и прочитал эти странные слова на истертой тряпке...

Я встал. Дыханием ветра меня шатало из стороны в сторону. В руке я держал сокровенную вещь. Я послал строгий сигнал телу и зашагал. Зашагал навстречу траурной тётке, мимо дома истошной бабки, зашагал вдоль посёлка. Какая—то неведомая сила вела меня к лесу, притягивала каждый раз, когда я отрывал ногу от земли. В кармане я нашёл кусок ржавой

селёдки, не разжеывая проглотил и чуть увереннее стал перебирать ногами. Односельчане тихо сидели по домам. Кто—то украдкой выглядывал из окна и грозил мне пальцем, кто—то при виде меня резко задвигал занавески, кто—то заметно выключал свет. Желание матери двигало моим телом.

Я часто слышал, что при нынешнем режиме некоторые становились отшельниками уходили в лес. Наш лес был богат на пищу, дай Бог, лишь бы паршивые не добрались. Наверное, мое подсознание решило, что мне нужно жить именно там. Или, по крайней мере, первое время провести именно в лесу. Но как быть с буквами на тряпке? С этими людьми я точно ничему не научусь. Им наплевать на меня. Они будут морить меня голодом специально, чтобы своим присутствием я не отравлял им жизнь. Дома только жалко для них. Нашего с матерью ветхого домишки, принимавшего каждую соседскую беду и радость, как свою. Ну, ничего, я разведу, что там, в лесу и сразу вернусь! Ради матери.

Лес принял меня довольно странно. Где—то мелькали сохлые ягоды, загадочно манили сочные листья неизвестных трав. Изредка я перекусывал тем, что под силу моим неокрепшим зубам, жучил березовый сок, валялся на мягкой траве. Вот бы эту самую траву постелить на наши с мамой кровати! Я обязательно предложу ей, когда мы встретимся. Тучные темно—коричневые деревья, казалось, старались меня прогнать. Я чувствовал, как они росли и тенями своими покрывали мягкую травку, сохлые ягоды. Их было немного, этих исполински чудовищных великанов, но каждый из них стремился вытеснить пышные кустарники, уничтожить цветастые ягодные семьи. Как только чёрная тень настигала гонимого, последний сразу терял свой цвет, становился подобным тиранам и под дуновение ветра кивал серой головкой в такт. Тут я вспомнил, что на нашем участке видел несколько подобных кустов, цветных, пышных кустов, совершенно не тронутых адским режимом. Наверное, они вовремя «эмигрировали», и теперь шепчут благоуханиями вдали от родного дома. Но головки их повернуты к лесу, они все ещё верят, что раскроется чёрный занавес, и Родина вдохнёт сладких запахов их плодов.

– Эй, пострелёнок, Ельницкий ты? Гонятся за тобой? Беги сюда, я укрою! Но потом берегись! тихий, но надрывающийся голос, осипший от несправедливой жизни прервал мои «мамочкины» минуты. Так я называл время, когда все мои мысли, все мечты и желания посвящались матери. Услышав голос, я испугался, дернулся и вытаращил свои маленькие уставшие глазёнки, уставившись на мужика. Видно было, что лес его дом. Он сам напоминал какое—то большое, могучее дерево. Мужик был обмотан в лохмотья, в волосах его я заметил несколько колтунов. Широкие пальцы кровоточили, а губы, казалось, были сродни коркам хлеба, тем, которые мы с матерью растягивали на несколько недель.

– Да—а—а.. Ельницк..Н..н гонят.., я сжевал половину слов от растерянности и испуга. Звучно проглотил. Передо мной всё—таки чужой. А вдруг он маму увёз, а теперь за мной пришёл? Я ведь не знал совсем, почему, кто и как увозят, слышал только про паршивых от бабы Нюры, да от родственников. Ну этот вроде бы свой, добрый. Глаза светлые. Я несколько раз сильно зажмурился, чтобы рассмотреть мужика. Сделал шаг, второй. Даже руку положил, как мама на истошную бабку, когда у той детей забрали.

Мужик встряхнул меня, схватив за плечи, и не торопясь повёл вглубь леса. Я крепко сжимал драгоценное матерно послание и молча шёл. Терять было нечего. Дома меня никто не ждал. Казалось, что мой лесной спутник чувствовал мое горе, сопереживал. Внезапно я остановился. Послание!

– Вы—ы.. можете прочит..? – дрожащей рукой я протянул мужику кусок мокрой материи. На глазах наворачивались тяжёлые слезы. С первой минуты я доверил незнакомому человеку самое дорогое, самое родное и близкое. С первой минуты я почувствовал в нем дыхание друга. Мама часто называла детей бабы Нюры своими друзьями, по вечерам рассказывала мне, что такое дружба. Я никогда не мог по—настоящему понять, что это такое, потому что у меня не было друзей.

Ведь это чувство не может возникнуть с первой минуты? Или может? Что бы сказала мама, узнав, что я передал ее записку незнакомому из леса? Ах, если бы она только увидела эти светлые русские глаза! Настоящие, честные, глубокие глаза! Непременно, маме бы понравился мой новый друг. Друг, который сейчас прочитает несколько важных слов.

Но мужик не торопился с чтением. Он что—то быстро пробормотал, скомкал тряпку, ещё крепче схватил меня и мы снова зашагали. Может, он тоже не слышит, что я говорю? А может, он не умеет читать? Об этом я не задумался. Не зря ли я пошёл за ним, если он не хочет прочитать мамину записку? Получается, я «подружился» с ним только ради того, чтобы он мне помог? Нет, это не дружба! Я же тоже должен как—то ему помочь! Медленно рассуждая сам с собой, я хрустел сухими ветками вслед за спутником. Мы шли долго. Мои тонкие ноги уже подкашивались, внутри что—то ныло, болело, даже постукивало. Все это время мужик крепко сжимал мою руку, не отпуская ни на минуту. Казалось, наши души ангелы связали золотой ниточкой, я уже знал, что этот человек никогда меня не бросит и даже в какой—то степени был горд. А ведь мы знакомы несколько минут! Как же много говорят глаза! Как много говорят глаза русского человека!

Наконец, мы пришли. Я огляделся. Вокруг были разбросаны какие—то цветные тряпки, между деревьями было натянуто голубое покрывало. Наверное, оно защищало лесного жителя от дождя. Справа лежал широкий матрас и куча досок.

— А я ведь... я ведь хотел писателем стать. Писал про детей, про мужика писал русского. Я ж Некрасова всего перечитал. Вдохновился.. не поверишь! А как услышал, что вокруг происходит, вещи свои собрал и быстро сюда, в лес. Рукописи все, всё тут. Найдут не сдобровать! Мужик укутал меня в тулуп, сунул в руки миску воды и взял у меня из рук мамино письмо.

— Ну—ка, что тут у тебя?! От мамы, да? Читаю: бе—ре—ги се—бя, О—го—нек. Береги себя, Огонёк! Ох, Огонек, не бережёшь же ты себя!

Огонёк! Мама называла меня Огоньком, потому что иногда я очень непредсказуемо себя вёл. То без причины плакал в углу, то радовался первому осеннему дождю. Любое незначительное событие отражалось на моем эмоциональном состоянии. Я быстро загорался бурями чувств и так же быстро угасал.

Мама, мамочка! Как же я буду себя беречь, ведь раньше ты меня берегла, а теперь тебя нет рядом! Ах, мамочка, я же совсем не умею себя беречь! К тому же я не научился читать, как ты хотела, мама! Но я обещаю, я обязательно научусь, обязательно!

## 2. ХИТРОГЛАЗЫЕ

Тем временем в нашем доме оставалась только моя сестра. Аркадия, мужа ее, они с Нюрой похоронили на берегу реки. За домом никто не следил – убитая горем Роза лежала день и ночь, а у соседской старухи хоть и маленькое, но своё хозяйство. Стояла гробовая тишина. Ни шума, ни плача, ни доброго слова. В дом к нам тоже никто не заходил, как раньше – мы стали кем—то вроде чужих, непринятых. Раньше я была негласной главой посёлка – «умная, маломальски образованная, мудрая, справедливая» – так говорили обо мне местные. «Без тебя, – всхлипывали старики, – нашим домишкам долго не продержаться. Тетки все хоть и добрые, хорошие, но ленивые, больше о себе, наперёд не смотрят.» Поговаривали что поначалу плакали по одиночке у себя дома, меня вспоминали. Некоторые даже Нюру проклинали – думали, что из—за ее детей меня и увезли. А потом как с цепи спустились – тихие, озлобленные. Боятся.

Бог милостив, хитроглазые несколько раз меня допрашивали, но не пытали, признаваться не заставляли, лишь пригрозили, стукнув несколько раз кулаком по столу, и отпустили. О сыне среди них я не упоминала, ведь выдавливать по капельке жалость было бесполезно. Да и стыдно. Некоторых лишь раззадоривали тяжкие материнские всхлипывания, за что родительницам вскоре вручалось по статье. Я предвидела, что такое может произойти и со мной, поэтому отвечала односложно, без эмоций. О ребёнке я вспоминала перед сном, молилась шепотом и желала ему здоровья.

Все три дня заключения я провела в тесной камере с десятью женщинами. Одна из них постоянно истерично рвала на себе последние куски запутавшихся волос. Она кричала, что больше не женщина, не мать, не человек, умоляла каждую из нас вырвать ей сердце, раздирала ногтями кожу на груди, называла какие—то имена и фамилии.. Затем резко напевала колыбельную и делала вид, что укачивала детей. Потом снова рвала волосы. На голове её виделось множество кровавых ранок от зверски вырванных волос. На некоторых из них кровь запеклась и образовались горчично—красного цвета корки, послушно отваливающиеся при сильном прикосновении. Мне было очень страшно. Страшно от того, что свои же русские убивали своих же русских женщин. Женщин, подарившим жизнь палачам, нещадно доносивших на своих матерей. Таких среди нас было трое. Они уже не могли плакать, души их опустошила несправедливость. Когда они рассказывали о своих любимых сыновьях, глаза их щурились, как бы испуская слезы. Слез не было. Заметно было только, как напрягаются мышцы век, чтобы выпустить слезу. Потом женщины замолкали и слушали стук своего сердца. Они говорили, что через своё они слушают биение сердец их детей. И пока материнское сердце отстукивает быстро, сыночек жив и здоров.

Мне было жутко смотреть, как в нашу камеру заталкивали, как мусор в заполненное ведро, голых женщин с вырванными ногтями, как извивались они, корчась от спазмов, как хрипели, как умирали. Как били тяжёлыми сапогами тех, что поворачивался спиной к двери, как с хрустом ломали ребра... Когда избитые выли, те трое, кому свои собственные сыновья подарили эту участь, часто нервничали и пытались сделать замечание, ведь гораздо тяжелее почувствовать связь с родным сыном при посторонних звуках. Были здесь и веселые бабы—хохотушки, которые так и норовили кого—нибудь обчистить. Про родственников они не рассказывали, а из разговора тех трёх я узнала, что они сироты и никого, кроме друг друга, у них нет.

Я часто задавалась вопросом, почему меня так быстро отпустили. Почему не изувечили, как остальных? Может, потому что я ни разу не прилегла в неположенные часы? Или не поворачивалась спиной к двери? А может...

Когда я ступила на родную землю и посмотрела вокруг, страх все ещё не покидал меня. Теперь это страх за посёлок. Казалось, всё ушло вместе со мной. Но вернулась только я одна.

Следы пожара, покосившиеся от утрат дома, пустынные дворы, разбитые окна... Я стояла посреди пустыря и ждала сына. Вот—вот он выбежит откуда—нибудь из—за куста тли спрыгнет с какого-нибудь дерева, накинется на меня и изо всех сил сожмёт в своих детских объятиях. Ждала неуклюжего рыжего парня с маленькими добрыми глазами. Надеялась, что вот—вот он, мой Огонек, прибежит и, громко рыдая, бросится мне на шею. Я вспомнила, как делали женщины в камере и положила правую руку на сердце. Оно билось с невероятной скоростью. Значит, мой сын жив. Я медленно подошла к нашему дому. Немытый, грязный, он представлял из себя беспризорного бродягу, с затуманенными, мутными окнами и отвратительно скрипучей дверью. Видно было, что ее давно никто не открывал.

– Огонек! – шепотом закричала я. – Сыночек! Я приехала, мальчик мой! Выходи, не бойся!

Тишина. Злая, уродливая, мерзкая тишина. Ком в горле намекал на самое худшее. Подталкивал самые страшные догадки к осознанию. Казалось, что наш старый дом тоже побывал на страшном допросе, как те русские женщины из моей камеры. И теперь молчит. Я взмолилась, беззвучно упала на крыльцо и закрыла лицо руками. Из ближней комнаты слышалось напряженное дыхание.

– Роза? – я встала на коленки, проползла несколько шагов, заглянула в комнату и увидела свою родную сестру. Она лежала на кровати. Левая рука её прижимала к груди икону Николая Чудотворца, а правая безжизненно свисала на пол. Под кроватью жадно скреблись крысы. Они выжидали, пока старуха отойдёт в вечность, чтобы полакомиться свежим трупом.

– Кшш.. – протянула я.

– Чудо—о—о... Я умерла? Оксана, это ты? Ты... тоже умерла? Где... Аркадий? Это Николай Чудотворец отправил нас всех, соединил, связал... – Роза страшно закашляла, но рука её все так же крепко сжимала икону. – Оксана, ты прости меня, грешную, я не уследила... перед смертью... за Огоньком... – Роза не открывала глаз. Бесформенная серая слеза потекла по левой руке старухи. – Оксана...

Я не могла говорить. Господи, что тут случилось? Где мой сын? Что с Розой? Что с ее мужем? Десятки вопросов крутились в моей голове, каждый из них заставлял меня думать о самом худшем. На пару секунд я даже усомнилась, жива ли я. Не уследила за Огоньком... Насколько эти слова полны неискренности!

– Роза, ты не умерла. Розочка, Роза! —я стряхнула с её головы слой пыли и осторожно погладила по голове. —Роза, когда последний раз ты видела сына?

– Какого сына, Оксана? У меня был только... – Роза снова сильно закашлялась.

– Моего сына, моего Огонька!

Роза молчала. Я не знала, куда кидаться. Помочь Розе встать и хотя бы умыть лицо или бежать искать ребёнка? Но куда бежать? К соседям? Нюра замечала моего сына только тогда, когда он залезал на свой любимый тополь, а остальные люди жили на другом конце посёлка. Тем более после крайних событий... Думаю, им тоже не было дела до моего сына. А тряпка? Он нашёл её? Кто—нибудь нашёл её? Я побежала осмотреть место, где должна была лежать записка. Пустота. Может быть, ветер унёс её? Если Огонёк нашёл записку, благослови Господи, чтобы он понял и не выкинул...

Я принесла Розе воды, помогла ей встать и умыла её застывшее лицо. Она чуть морщилась, как ребёнок, что—то бормотала себе под нос и терла правой рукой пыльную икону. Стекло давно разбилось, и пальцы Розы скользили по осколкам, обнажая кровь. После я осторожно взяла Розу за руку и, придерживая спину, постаралась усадить на кровать. Мышцы задеревенели, поэтому процедура мне давалась с трудом. Когда сели, сестра приоткрыла один за другим глаза и вздрогнула. Тяжело вздохнув, я села рядом и положила руку Розе на колено.

– Я вернулась, милая. Все хорошо. Не бойся. Ты не одна. – я чуть приобняла сестру и положила голову ей на плечо. – Сейчас главное найти ребёнка. Я не злюсь на тебя, Роза. Я счастлива уже от того, что ты жива. Все будет хорошо, милая, слышишь? Я сейчас попробую найти нам еды, а после отправлюсь на поиски сына.

Как же мне тогда хотелось кричать. От страха, от беспомощности. Черные мысли, подвальные лысые крысы, теснились в моей голове. Немошная сестра, Аркадий, сын... Нельзя было подавать виду, ведь Роза рядом. Она сейчас как ребёнок, как Огонек, но пока такой слабенький...

### 3. ДРУГ

Я потерял счёт времени. Сколько прошло с момента моей расставания с матерью, я не знал. Чувствовал только, что много. Как там она? Сыта? Какие сны она видит? Надеюсь, что я ей хоть раз приснился. Вспоминая слова из материной записки, я постоянно задавался вопросом: как же себя беречь? Что нужно делать? И раз у меня появился новый друг, думал я, наверное, можно обратиться к нему за помощью.

– А вы не могли бы меня беречь? Мама просто попросила... – я смотрел на моего лесного друга снизу вверх, специально вытаращив глаза и одновременно дергая его за дырявый рукав. – Я просто не хочу расстраивать маму. Поберегите меня, ладно? – настоящая, искренняя надежда теплилась во всем моем теле. Я знал, что Великан мне не откажет.

– Поберечь, говоришь? Конечно? Обязательно поберегу! Нам, двум одиноким душам, нужно держаться вместе в такое тяжёлое время! Иди сюда, пострелёнок, дай, я тебе руку пожму!

И этот сакральный момент объединил жизни большого и неуклюжего Великана и маленького, неопытного постреленка, Огонька. Я чувствовал себя голым, вытолкнутым из гнезда птенцом. Жизнь моя настолько была подвергнута различного рода опасностям, что помочь мне мог только тот, кто сильнее всех внешних обстоятельств. И судьба столкнула Великана со мной.

Мы крепко обнялись, и я почувствовал себя как за каменной стеной. Даже дома такого не было. Там я ощущал себя под плотным непрозрачным колпаком, зная, что дальше дозволенного мне путь закрыт. Я даже не мог видеть этого дозволенного. А сейчас действительно возник щит, живой, самый настоящий товарищеский щит. И конечно, заглянув в добрые глаза моего друга, внутренняя тревога на некоторое время отходила на второй план.

Странно, но Великан почему—то никогда не спрашивал меня ни о матери, ни об отце. Помню, в деревне, когда кто—то гостил у нас, постоянно в воздухе летали какие—то навязчивые кровососущие вопросы. Все норовили потрогать меня, будто я какой—то редкий музейный экспонат, а после задать пару десятков вопросов, которые впоследствии оставались без внятного ответа. А сейчас было по—другому. Наверное, Великан думал, что мое беспокойное детское сердце ранят такие разговоры. Он чувствовал мою утрату и понимал меня. Думаю, это самое главное. О себе он тоже ничего не рассказывал, а я и не спрашивал. Захочет, поделится.

В свободные минуты мне нравилось наблюдать за лесом, изучать его. За этими темными тенями, которые обесцвечивают лесную красоту, за лесными птицами, за облаками. Иногда я подбегал к этим тиранам—тяжеловесам и пытался их отодвинуть, иногда переносил цветные кусты на места, куда просачивалось солнце. Некоторые из них приживались. Я чувствовал себя героем—спасителем, художником, творцом! Вот бы кто—нибудь взял и так же перенёс маму ко мне! Я намекал Всевышнему о своём желании, но он меня, видно, не слышал.

Обычно мечтать приходилось недолго. Нужно было добывать еду, а это занимало достаточно много времени. Лесной житель учил меня собирательству, рассказывал, какие ягоды можно есть, а какие нет, показывал, как добывать огонь. Мне не очень нравились эти занятия. Часто я ел не те ягоды, а потом у меня долго болел живот. Великан заваривал мне какие—то сильно пахнущие травы, и на какое—то время мне становилось легче. Я не мог понять, в чем отличие между этими алыми ягодами, как их различать? И опять ел не те. Наверное, это следствие моей болезни.

Однажды утром друг аккуратно разбудил меня и сказал, что приготовил мне подарок. Честно говоря, я не знал, что такое подарки, но спрашивать о том, что значит это благозвучное слово, я не стал – стыдно. Помню, мама рассказывала о каком—то празднике, который есть у каждого человека, но я об этом дне знал только по рассказам. Она говорила, что в этот праздник принято дарить эти самые подарки, обещала, что, когда все наладится, я обязательно узнаю

про этот волшебный день... После рыданий истощенной бабки я предчувствовал, что это будет нескоро. Однако Боженька сжалился над моей больной душенькой и ниспослал мне друга. Он аккуратно взял мою тоненькую ручку, закрыл своей огромной, как лопух, ладонью мои глаза —щелочки и усадил на соседнее бревно. Затем Великан строго велел не открывать глаз, оторвал от меня свою руку, куда—то отошёл и, посчитав до трёх, разрешил смотреть. Он положил передо мной толстую доску и вручил полую трубку с вставленным угольком. Рядом лежало несколько листов с крупно начерченными символами. Некоторые из них походили на те, что были у мамы в записке. Я удивлённо посмотрел на друга и, вытаращив глаза, шепотом спросил:

– Я не верю своим глазам... Вы... вы правда научите меня писать? – я сильно—сильно поднял свои брови и посмотрел на лесника. – Но... чем я могу помочь? Мне... мне неловко от того, что я не могу отплатить..

– Позволь я изредка буду читать тебе свои рукописи. Когда я жил в посёлке, по вечерам возле бани я собирал соседских ребятишек и читал им сказки об удалом русском мужике, да о бабах—героинях. Ох, как мне нравились некрасовские женщины! Такими же были и героини моих сказок.

– Какими?

– Сильными, храбрыми, работающими. Ради своих дитяток работали до умору. Сказывал я как—то ребятишкам, как одна баба все время трудилась без отдыха, чтобы ребятишек своих прокормить. Не думала баба о том, как прилечь, да поспать, все работала. А как спину—то выпрямила, глядь, а дети то уже выросли, стоят рядом с инструментом. Велят идти отдохнуть наконец. «Теперь, – говорят, – наша очередь пришла поработать. А ты, матушка, ложись, да отдыхай наконец». Сколько баба не отпиралась, да не противилась, все равно молодцы её почивать уложили. И снилось бабе той, что сам царь грамоту хваленую ей выписал за воспитание ребятишек удалых.

Я молча кивал. Очень уж интересно было слушать про работающую бабу. У нас в посёлке тоже есть несколько таких женщин. А лесник продолжал:

– Вот научу тебя грамоте – дам несколько сказок, сам прочитаешь. А потом расскажешь, какая больше понравилась. Договорились, пострелёнок?

– Договорились.

Я подал руку Великану в знак поддержки и уважения. Он развернул её внутренней стороной вниз и, как следует русскому мужику, пожал. Рука чуть горела, но впредь, когда мы с лесником о чём—то договаривались, я всегда был готов к рукопожатию.

Как же я был счастлив в тот момент! Я верил, что скоро научусь читать, и если мы с мамой встретимся, то я с удовольствием прочту ей несколько строчек её любимой книги! Сам! Хотелось сделать всё возможное ради мамы, чтобы она гордилась мной, чтобы чувствовала настоящую сыновнюю любовь. Я знал, что с помощью моего нового друга у меня все сложится. Как же я был благодарен Великану!

Наши занятия проходили по утрам. Мой друг говорил, что учиться нужно, пока светло и пока мы не устали от физического труда. Я внимательно слушал Великана и пытался запомнить то, что он говорит. Иногда мой взгляд терялся, и я фокусировался на какой—то незнакомой птице или интересной формы ветке. Учитель меня совсем не ругал. Он терпеливо учил меня написанию и звучанию букв, выцарапывая на доске аккуратные небольшие знаки. Он говорил, что я умный мальчик и совсем скоро уже самостоятельно смогу читать и писать. А я старался не отвлекаться, хотя, честно признаться, звуки лесных животных очень занимали меня. Лесник это видел и каждый раз говорил:

– Я обязательно научу тебя различать птиц, но позже. Сначала мы с тобой должны освоить грамоту.

Я чувствовал, что Великан понимает меня, казалось, что он вместе со мной проживает эту странную пору детства. Он посылал мне свою поддержку и радовался каждому слову. Мне нравилось, когда он меня хвалил, похлопывал по плечу и по—дружески усмехался.

– Эх, смысленный ты, Пострелёнок! Все—то тебе интересно. И как русский лес загадочно бранится, и как птицы русские поют, и грамоту—то тебе подавай! А я ведь, брат, такой же как ты был. Любознательный до жути! Матери моей не стало, когда мне было пять лет. Пришла соседка и сказала, что мама умерла и меня увезут. Я до сих пор не знаю, что с ней случилось. После её смерти меня увезли в район, к тетке, которой до меня не было никакого дела. Я чувствовал, что мешал ей, её семье, знал, что мне здесь не рады. В подвале дома однажды я нашёл несколько книг. Бегал по двору с этими книгами, думал, кто заметит, подскажет, что делать. Через несколько дней соседский дед сжалился надо мной, за пару недель научил меня грамоте и вручил ещё несколько рукописей без автора и без названия. Похоже, что он был писателем. А потом я сам стал сочинять. Придумывал разные сюжеты, сам с собой обыгрывал их. В одной из книжек я прочитал о театре и по вечерам мечтал. Театр, Пострелёнок, это такое представление, когда каждый играет какую—то роль. В детских картинах люди могут играть животных или колдунов с ведьмами, а спектакли для взрослых могут быть по мотивам какой—нибудь интересной истории. Некоторые писатели создают пьесы – это рассказы для постановки в театре. Вот бы у меня был свой собственный театр! Но, ты понимаешь, возможности создать свой театр у меня не было, поэтому я просто сочинял сказки и записывал их куда придётся. О змее—колдуне, о воробышке – хитром врунишке, об умных конях, о мужике—добытчике. Через несколько лет пришлось мне уехать оттуда, а тут как раз всё самое жуткое и началось. Слышал я, что человеку пишущему трудно с властью совладать будет, поэтому и ушёл сюда в лес. Я ведь с детства самостоятельный! И костёр разжечь могу, и еду раздобыть и такого сорванца, как ты, грамоте научить! Другие уехали за границу, мне это не под силу. – мужик грузно вздохнул, осторожно потрепал меня за ухо и захохотал. Честно сказать, он часто веселился. Улыбка не сходила с его лица, напротив, она посылала себя мне. Неужели Великану так радостно живётся в лесу? Или он счастлив от того, что встретил меня и смог проявить заботу?

– А что потом? Так и жить в лесу? – робко спросил я, уткнувшись подбородком себе в грудь и насупив брови.

– А потом, пострелёнок, будь, что будет. Нужно жить тем, что есть сейчас. Благодарить бога за то, что мы живём. Особенно сейчас, в такое страшное время. Потом могут все забрать: и жизнь, и лес, и рукописи... И что тогда? И т... – мой друг, наверное, хотел сказать, что и меня тоже могут забрать, но быстро остановился, выдержал паузу и продолжил. – Сейчас я в ответе за тебя. Я забочусь о тебе. Я учу тебя. Я знаю, что ты меня не бросишь в беде, и я не брошу тебя.

Впервые за долгое время я почувствовал себя частью чьего—то мира. Ведь дома, когда мама была занята домашними хлопотами, а тётка с мужем постоянно бранились, я ощущал себя чужим, думал, что никому до меня нет дела, поэтому и привлекал внимание матери частыми рыданиями. Это чем—то роднило меня с Великаном. Но сейчас я стал понемногу понимать, что мать работала ради меня, трудилась закатав рукава, чтобы достать мне, своему Огоньку, этот пресловутый кусок ржавой селедки. Ах, какой я был глупый и плохой! Ведь, кроме матери, у меня совсем никого не было. О дружбе я знал только по рассказам, да и пробовать дружить со взрослыми мне как—то не хотелось. Не поползут же они со мной на дерево!

Но здесь, в лесу, казалось, я нашёл Настоящего друга. Огромного великана с поистине глубокими светлыми глазами. Я мог сидеть рядом с ним и молчать. И он меня понимал. Я не знал, сколько ему лет, есть ли у него такие же дети, нет, я не хотел даже думать об этом. Наверное, он был таким же взрослым, как и мои домашние. Но чего стоила одна его улыбка! Добрейшая улыбка человека, который верит в меня, в чудного рыжего парня со странным именем Огонек.

## 4. СЕМЬЯ

Я потихоньку выхаживала Розу, кормила её с ложечки диким щавелевым бульоном, помогала вставать, водила под руку на прогулку. И хотя каждый раз мы ходили одними и теми же тропами, я постоянно изо всех сил звала Огонька. Сестра в это время крепко жмурилась и сжимала мою руку. Думаю, её это раздражало. Она очень мало разговаривала. После смерти мужа её жизнь, казалось, потеряла смысл, да и пропажа ребёнка отложила на одиноком сердце крайне неприятный отпечаток. По крайней мере я так думала, мне так хотелось думать. У Розы не было своих детей, и, я думаю, ей сложно было понять мою катастрофу. Но я не держала на сестру зла, я была рада уже от того, что железная политическая машина не поглотила её жизнь. Я не представляла, что бы сейчас делала без неё, без родной кровинушки.

После моего возвращения прошло три дня, и каждый день, по несколько часов, я травила на слепые, безотчётные поиски сына. Я беспорядочно кружила по посёлку, врывалась в соседские дома, так же рыдала, рвала на себе одежду, падала... Никто из соседей помогать мне не решался – наверное, боялись чего—то. Да и работали все. Роза, как тяжело больная, сидела дома. Меня никто не дергал, и слава богу. С того момента, как меня увезли, никто не варварствовал над нашим посёлком. Как сурово, как горько чувствовать себя разорванной, страшно ощущать, как вырвали из сердца родного человека и отбросили в неизвестном направлении. Я одна против улицы, против леса, одна против посёлка, одна против... И он, мой родной, мой рыжеволосый Огонек, один, один против чужих! Если бы он был чуть старше... Как найтись родственным душам? Как отыскать друг друга в полумраке отчаяния? Ах, узнать бы, жив ли он...

Снова вспомнив способ заключённых матерей, я положила правую руку на сердце и насильно прислушалась. Колотится, рвётся. Значит жив.

По вечерам я укладывала спать сестру, рассказывая ей о своём Огоньке. Вспоминала, как он родился, как рос, как начал лепетать, потом говорить по слогам; как любил рисовать, как нравилось ему слушать дядины выдуманные истории. Да, Роза жила с нами с рождения сына, но ничего о нем не знала. Для неё он был чем—то вроде плюща – вился послушно вокруг матери. Сын как—то пытался поиграть с ней в самодельный мяч, но Роза что—то неприятельски буркнула в ответ, махнула рукой и ушла. Больше ребёнок к ней не походил, боялся. Может, сестра завидовала моему материнскому счастью, а может, и вовсе не любила детей. Тем более, он не такой, как все. Станный. Причудливый. Я хотела рассказать Розе о настоящем Огоньке, о его трепетных младенческих чувствах и забавных эмоциях. Она что—то бормотала, вздрагивала и резко переворачивалась. Когда я меняла тему, дыхание её было ровным, согласным. Нет, я совсем не хотела её в чём—то упрекнуть. Мне нужно было говорить, чтобы не сойти с ума, говорить хоть с кем—нибудь, говорить о сыне, о моей последней надежде, о самом родном и самом дорогом. Я вспоминала, как Огонек будил меня по утрам, вскарабкавшись мне на спину, как шептал мне на ухо своё детское «Мамочка, я здесь...», как обещал, что никогда и никому меня не отдаст.

А потом испугался. Испугался, видя, как во всё горло рыдают взрослые. Как истерично они рвут на себе клочки волос, как падают на пол и замирают без чувств. Он видел, как увозили старого соседского деда, как трагедия вошла в дом бабы Нюры и как все они, испеплённые горем, приходили к нам, плакали, кричали, снова падали на пол, бились в отчаянии. Слышал и как кляли страшную систему, но кляли не прямо. Он видел, как забрали потом всех этих клянущих, понял всё по воплям Нюры, сам вместе со всеми рыдал и просил меня никогда не уходить от него. Когда я говорила с ним о том, что такое горе может заполнить каждую семью, он резко убегал в подвал. На следующий день Огонёк задавал мне вопросы, почему наши соседи не сделали ничего плохого, а их наказывают. Я говорила, что это плата

за грехи. Рассказывала, что такое грехи и кто может называться грешником. «Но ведь наши соседи не были такими», – удивлялся сын. Это противоречие жило в нем и грызло его острыми клыками со всех сторон. А потом и меня...

– Он испугался и убежал, верно, Роза? И ты не в силах была бы его удержать, даже если бы... если бы любила его... Роза, ты ведь не любила его? – я резко переключалась с рассказов об Огоньке на Розу. – Роза, ты ведь не любила его!? Отвечай, Роза!? Ты ведь постоянно избегала его, брезгливо отталкивала, если он к тебе подходил, он мешал тебе жить, мешал дышать, мешал быть свободной. Это так, Роза!? Роза, почему ты не любила Огонька... – слезы градом летели на пол, я сидела на голом полу и трясла покосившуюся кроватную ножку. Мне было жаль больную Розу и одновременно я сходила с ума по пропавшему сыну. Я не держала зла на сестру, но временами на меня нападали зверские эмоции. Они ели меня изнутри и сжигали во мне все человеческое до последней капли. Порой мне было не под силу их контролировать и я, подобно кровожадному врагу, срывала всю эту слизь на близкого мне человека. С каждым днём мысли становились все объёмней, все сложнее, все запутанней. Я боялась, что они полностью завладеют мной. На что я способна, будучи в таком состоянии?! Припадки заканчивались быстро. Но главное, что меня успокаивало, это темп биения моего сердца.

Я снова положила руку на левую сторону груди и застонала.

– Прости меня, Роза. Ради Бога, прости.

Роза понимающе положила свою высохшую руку мне на плечо. Я молча встала и ушла на кухню. Мне было непереносимо стыдно. Мне не хотелось разговаривать, не хотелось обсуждать произошедшее, что—то внутри мне подсказывало убраться. На столе лежала сестрина икона Чудотворца. Я посмотрела на святой лик, зажгла старый огарок и прошептала:

– О Господь мой, Создатель мой, прошу помощи Твоей, даруй исцеление рабу Божьему, сыну моему, омой кровь его лучами Твоими. Только с помощью Твоей придет исцеление ему. Прикоснись к нему силою чудотворною, благослови все пути его ко спасению, выздоровлению, исцелению. Подари телу его здоровье, душе его – благословенную легкость, сердцу его – бальзам божественный. Боль отступит, и силы вернуться, и раны заживут его телесные и душевные, и придет помощь Твоя. Лучи Твои с Небес дойдут до него, дадут ему защиту, благословят на исцеление от недугов его, укрепят веру его. Да услышит молитву сию Господь. Слава и благодарность силе Господа. Аминь.

Казалось, лик святого умиротворил во мне вопиющую дикарку—мать и дал немного сил и надежды. Завтра будет новый день. Завтра я снова буду искать сына. Аминь.

На следующий день я поставила себе задачу обыскать окрестности посёлка. Ежедневно я считала своим долгом выполнять поставленные самой собой установки и, если таковые были сделаны, день был прожит без истерик. Утром я накормила Розу, собрала в дорогу немного воды и вышла на воздух. Времени у меня было немного, ведь к обеду нужно было вернуться – Роза не могла обходиться без меня подолгу. За это время я уже несколько раз порывалась пойти на несколько часов, но сестра страшно стонала и, тем самым, видимо, молила не оставлять её одну. Мне было так горько и страшно, я разрывалась между самыми родными людьми в мире, находилась между двух огней... Ах, если бы я знала, о чем думает сейчас сестра, если бы чувствовала, какая расплата готовится мне сверху... Но.

В детстве Роза часто оставалась со мной, когда мама работала. Я постоянно тяжело болела и поэтому много плакала, а сестра всегда успокаивала меня, подбадривала, рассказывая интересные истории из детских книжек. Я заслушивалась и засыпала. Боль постепенно оставляла меня. Во сне я чувствовала, как Роза нежно целовала мой горячий лоб и уходила, оставляя тоненькую щель в дверях, чтобы мне не было страшно. И когда начиналось утро, в эту щель осторожно стучался солнечный лучик, похожий на огонек. Такой же резвый, непредсказуемый, загадочный. И почему—то этот огонек приходил только тогда, когда накануне вечером сестра убаюкивала меня... Ради этого огонька я торопилась просыпаться. И если бы не она, то

не было бы сейчас ни этого дома, ни Огонька; скорее всего, меня не забирали бы на допрос, я не видела бы этих несчастных женщин, не слышала бы стонов.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.